

На самом деле каждый из нас —
театральная пьеса, которую смотрят
со второго акта. Все очень мило,
но ничего не понять.

Хулио Кортасар. Игра в классики

Чайки взмывают вверх, обретая легкость и стройные фигуры-галочки, а приземлившись, втягивают головы, как тот тучный дядюшка, визуальнo лишенный шеи, у которого мы покупаем сливы, сытые и чопорные птицы расхаживают вдоль берега, визгливо перебраниваясь между собой. Море невинно пускает белые пузыри, кружевом пены оточает темную прибрежную гальку. Бесстрастные тела, подобно древним каменным истуканам, невозмутимо подставляют себя солнцу, сидя и лежа, иногда стоя, не шелохнувшись, устремляя взор напрямик в вечность, за линию дымчатого горизонта. Он кажется книжной абстракцией — в зыбком мареве акварелью растекаются пики гор.

Алькан — Эскиз № 15. *Tempo giusto*. Весело и торопливо Ида делает два неверных шага, путается в собственных ногах, падает на песок розовыми пятками вверх. У меня ухаet сердце.

Поднимайся, вот так, вот умница!

Навстречу семенит симпатичный кудрявый блондин лет четырех и элегантно бросает к ее ногам зеленый совочек. Его мать в оранжевом купальнике, похожая на белоногую креветку из рыбной тарелки, которую мы берем на ужин, дремлет

на соседнем шезлонге. Строительство песчаного замка — увлекательное и всепоглощающее занятие. Пожалуй, песок здесь слишком сухой, ничего у блондинчика не выйдет. К тому же скоро полдень, под ногами заструится раскаленная лава, сверху начнет кусать ядовитое и опасное солнце, у меня на него аллергия, лучше пойти домой. Странное понятие: «домой». Люди обращаются к нему вместо того, чтобы сказать «пойти в дом». Ведь это чужой дом, в нем чужая комната без полного пансиона, зато с предоплатой, где стоят чужие кровати, висят чужие гардины и жалюзи, зеркало, которое впитало в амальгаму десятки чужих лиц, а мы говорим «домой», будто это наша собственная комната, разумеется, мы согласились на эту комнату и в какой-то степени сделали ее своей, но все-таки, ты не задумывался об этом, нет, я не задумывался, ай, какой ты холодный, Мечик обнимает меня за плечи, прижимаясь мокрой грудью к моей горячей спине, пора собираться, иначе у меня разболится голова.

Мелкая галька неприятно шуршит, когда ребенок пытается расковырять песок лопаткой, этот звук вызывает во мне физическое отвращение, Мечик смотрит на блондинчика каким-то особенным, долгим взглядом, он никогда не заговаривает о том, что хотел бы, положим, иметь сына, никогда не пускается рассуждать об этом вслух, так уж он устроен. Нельзя назвать Мечика слишком тактичным, отнюдь, просто он не умеет проговаривать свои чувства, остается только догадываться, о чем

он думает, есть вещи, которые не в состоянии озвучить даже он.

Я складываю полотенце, и во мне растет непреодолимое желание взять с собой несколько прибрежных камушков, их здесь много — гладко отполированных, матовых. Те, что побольше, похожи на желуди. Те, что поменьше, — на любимое мамино драже. Я иду к воде, точно во сне — какими-то абсолютно отсутствующими ногами. Но я возьму камушки именно отсюда и именно сейчас. Глупое желание. Впереди еще двенадцать дней. Однако нужно быть последовательной. Вдруг уже получилось? Вдруг я еще не знаю, а уже победила. Камушки ознаменуют мой триумф. Я отдам их когда-нибудь Иде и скажу: вот, подобрала их в тот день, когда сорвала самый большой джек-пот в своей жизни. Можно будет не исповедоваться, не пускаться в какие-то излишние подробности, смысленная малышка — она и так все поймет. Просто отдам ей их как символ, сувенир, памятку. Много брать не стану. Возьму тот и вот этот. Или этот. Зажимаю в ладони два: голубой и оранжевый.

Мечик удивлен, и я зачем-то оправдываюсь, мягким-мягким голосом:

- Они мне нравятся...
- Ты пойдешь с ними обедать?

Мальчик следует моему примеру, складывает в ведро все камни подряд с видом человека, имеющего на них исключительное право. Ида теряет к нему интерес. Я тоже.

— Думаю сегодня попробовать фасолевый суп, — говорит Мечик, нырнув в майку-безрукавку и забирая у меня пакет с покрывалом. И галькой. — А со вторым еще не определился.

Арабеска Дебюсси в исполнении арфы звучит особенно усыпляюще, особенно в знойный полдень, особенно в столовой.

— Кстати, ты думаешь, это столовая? По-моему, это у них называется рестораном.

— Кафана, это называется у них — кафана. Ресторан — что-то более претенциозное, здесь не распространено, ты не передумала, снова будешь пюре?

Сквозь спущенные жалюзи неуверенно заглядывает солнце, но у него нет шансов и здесь хороший кондиционер, Мечик улыбается, заинтересованно изучая меню, в дверях мелькает несколько цветастых сарафанов, они стремятся выйти, но пропускают двоих детей, которые пулей проносятся мимо нас, гремят стульями и шумно заявляют о себе за столиком в конце зала, прежде чем их родители успевают ревоплотиться, я не отвечаю, думаю, что мне нужно будет научиться заплетать Иде такие косы, как у старшей девочки, думаю, что да, пюре, сейчас он скажет: ах ты моя картофельная душа!

Он говорит.

Еще он говорит: стоило ли ехать в такую даль, чтоб отведать голландской или... Откуда к ним может быть картошка завезена?

Официант — невысокий, коренастый, исполнительный мужчина средних лет, который обслуживает нас третий день подряд, робко улыбается и пожимает плечами: без понятия, откуда, и убирает пепельницу, здесь они на каждом столе, но он уже знает, что мне это не нравится.

Дебюсси обрывается, точно в кране перекрыли воду, серебристые ноты сносит стремительным потоком каких-то черногорских мотивов, мы делаем заказ, мне и Иде — пюре и какую-то котлету без всяких премудростей, Мечик улыбается: это не котлета, это плескавица, говорит: и соль, пожалуйста, принесите. Официант с достоинством удаляется, немного напоминая услужливого снеговика в своей белой униформе. Мечик ее непременно просыплет на скатерть, эту соль, как вчера, и завтра будет то же, он не умеет пользоваться элегантно и расторопно такими специальными предметами, как солонка.

Мечик говорит: ты ему нравишься, этому официанту. Или твои чаевые.

Света в окнах домов почти нет. Кое-где только слабое мерцание — включенные телевизоры. Окно на первом говорит голосом знакомого актера. Дом девятиэтажный, думает она. На каждом этаже по четыре квартиры. Девять на четыре — тридцать шесть. В одной квартире в среднем живет по четыре человека. На самом деле, может, и больше, чем по четыре. Такой непонятный дом... Но если приблизительно... Тридцать шесть на четыре — сто сорок четыре. В подъезде живет около ста сорока человек. Это ужасно много. Сложно представить такое количество знакомых, думает она. А эти сто сорок четыре ежедневно меня окружают. Я в одной бетонной коробке с ними. Поэтому так мало тишины и так много звуков. Какой-нибудь дедушка, допустим, на всю катушку (возрастные проблемы со слухом) включает вечерние новости, вторит профессионально сдержанным голосам дикторов. Какой-то второклассник, допустим, или второгодник вырвал из дневника страницу с замечанием, но родителям учитель уже доложил (сейчас хорошо со связью): родители не цивилизованные, не умеют найти подход к ребенку иначе, чем криками на ночь глядя. А где-то сверху, допустим,

влюбленная девушка (любовь, разумеется, первая) слушает тихо лаундж (эта девушка, кстати, может быть сама — композитор, и эта музыка в наушниках — ее собственная), улыбается своим мечтам, ничего, кроме своей любви, не чувствует, не слышит ничего, кроме своей мелодии, которая вплетается в ненормированную по громкости и смыслу музыку ее соседа с четвертого этажа, того, который... Он кричит и кричит. По вечерам, к счастью, сейчас реже. Больше утром. Это какая-то болезнь или душевное расстройство. В доме пять подъездов. Пять на сто сорок четыре... В одном доме живет население нормальной такой деревни. Семьсот двадцать дворов. Чужие люди, которых я не замечаю, которые меня не замечают, проходят мимо, чаще всего безучастные и неуязвимые, счастливые или одинокие, или счастливые своим одиночеством.

— И не страшно? Так поздно одной на улице... — спрашивает мужским голосом выросшая из-за угла тень.

— Нет. Я уже ухожу.

— Домой?

«Домой» — такое непостижимое слово, длинная-длинная рельса, на ней пункты, где она останавливается, останавливается, остановки не по требованию — вынужденные остановки. Теперь она никогда не спотыкается на слове «дом». Если в этой высотке, в одной из квартир, которую ей сдали по объявлению «без агентств», она *сейчас* живет,

значит, это ее дом. По крайней мере на сегодняшний день.

Тень медленно превращается в молодого человека.

— Давай знакомиться. Как зовут *тебя*?

— Неважно, — говорит она и изображает на лице улыбку. Улыбается не ему, а просто в пустоту. Чувствует себя безрассудной. Понимает, что не войдет в подъезд первой, несмотря на растущее желание развернуться и уйти. — Обычно отвечают: какое интересное имя — Неважно... или что-нибудь в этом духе... Но, видите, я вас опередила.

— Ну, если это такая большая тайна...

Он продолжает топтаться на месте и, конечно, украдкой разглядывает ее: светлые, с пепельным оттенком волосы собраны в хвост, толстый коричневый, затрапезный свитер, джинсы с оттопыренным карманом — там лежит «Нокия», домашние тапки на босу ногу. Она представления не имеет, как выглядит со стороны, но надеется, что ничего особенного. Ничего из ряда вон. Растекшейся туши, например. Которую подчеркнет этот странный вечерний свет. Ей становится неуютно от осознания своего эгоцентризма и желания понравиться — с какой стати? И ей совсем неинтересно, как выглядит он. Она обнимает себя обеими руками, прислоняется к стене, отводит взгляд. Равнодушно смотрит, как багряные сумерки стелются по земле, выделяя углы домов и растекаясь по асфальту, — такой приглушенный свет, будто кто-то не решается выключить

бра, будто погасить свет можно, только основательно подустав.

— Ты не особенно вежлива... Проблемы?

— Просто нет времени на этикет.

— Извини. Мне показалось, что ты не очень занята. Ты из этого подъезда?

— Допустим, да, — тускло отзывается она.

Что-то с мягким шелестом перекатывается в метре от них. Кот прошмыгнул или мышь, она невольно вздрагивает, у нее плохо с любовью к живой природе.

— Нет, ты не подумай, что я бесцеремонный... Просто вдруг мы станем часто встречаться?..

Стена впивается ей в спину колючими слезами штукатурки, как акупунктурный аппликатор, которым часто пользуется отец при ревматических болях.

— Не станем, я скоро уеду из этого района. Здесь есть достопримечательности?

— Что? — Он удивленно хмыкает.

Мимо них из сумрака подворотни трусит мастиф с недовольной мордой, волоча на поводке хозяина с таким же выражением лица.

— У меня есть друг, я с ним, кстати, скоро встречаюсь, так он такой же, как ты, замкнутый, слова не вытянешь... Вас бы познакомить... А ты не знаешь, что тут за история была на третьем этаже?

Она решается взглянуть на него. Парень как парень. На вид лет двадцать, ровесник.

Темноволосый, худой, угловатый. Сутулится — из-за роста? Неуверенности в себе?

— Какая история?

Он встречается с ней глазами, отводит взгляд, разом засмущавшись, вскидывает голову, улыбаясь. У него приятная улыбка, отмечает она.

— Там, короче, девушка какая-то повесилась на кухне. И ее труп не сразу обнаружили. Неужели ты не в курсе? Теперь эту квартиру сдают... Но там долго никто не живет: все боятся покойников. Кто сейчас на третьем, не знаешь?

— Я, — говорит она.

— Жесть... — Парень сконфуженно смеется, проводя рукой по лицу и притопывая ногой.

Звонок телефона на улице в этот час звучит гулко, точно эхо из колодца. Таррега и не подозревал, что спустя сто лет так извратят его мелодию. Парень бессознательно делает шаг назад, она быстро достает из кармана сотовый, пристально смотрит на него. Обычно она или сразу отвечает, или отключает звук. Но не сейчас.

Раз... Два, три, четыре, пять...

— Что с тобой? — спрашивает парень почти возмущенно.

Она считает вслух, поначалу сама того не замечая.

— Такая игра... Шесть, семь, восемь... Девять, десять, одиннадцать...

— Зачем ты считаешь?

— Четырнадцать... Пятнадцать... — Она качает головой, призывая его замолчать. — Шестнадцать,

семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре...

Остановилась. Потому что телефон замолчал.

Звонков без ответа: 1.

Она долго смотрит на сотовый, но он больше не воскрешается.

— Поссорилась с кем-то, да?

Вопрос выводит ее из оцепенения, она отвлекается от своих мыслей, вспоминая о чужом присутствии.

— Нет. Я жду, наоборот... Когда меня заберут.

— Кто? Если не секрет...

Она удрученно рассматривает свои тапки.

— Не секрет. Кто-нибудь...

— Странная ты, — говорит парень и смеется. —

Хочешь, я тебя заберу?

Она вглядывается в него сквозь вечерний полумрак, словно оценивая такую возможность.

— Не ты, нет, не ты...

Он картинно вздыхает, качает головой. Она слышит, как за спиной с грохотом открывается лифт и кто-то вскачь преодолевает ступеньки. Нетрудно догадаться, что этот кто-то — друг ее ново-явленного знакомого.

— Идем? — спрашивает он, минуя ее, как колонну, и ударяет кулаком о кулак знакомого в качестве приветствия.

— Нужно точно знать, чего ты хочешь, — говорит парень, впервые без смущения.

Хелена Побяржина

— Спорим, что ты не загадала никакого числа, когда считала?

«В профиль он красивее», — думает она, глядя на парня и игнорируя его вопрос.

— Ничего изменить нельзя, если не предпринимать никаких попыток... перемен.

Какое-то время они молча смотрят друг на друга, второй парень недоуменно поглядывает на них обоих. Она сдается, отводит глаза, снова прислоняется к стене, слышит вопрос: «Кто это?», но не слышит ответа — парни быстро растворяются в сумерках.

Она смотрит на небо. Думает о том, что уже поздно. Трогает оттопыренный карман.

Ты слишком к нему привязалась, слишком, думает она. Это ни в какие ворота.

З арядное к телефону, я забыла, куда его положила. Вытаскивала из сумки или нет, забыла. Конечно, вытаскивала. Вчера на ночь заряжала, а сегодня у телефона был насыщенный день. Вчера он запечатлел лишь миллион фотографий одного заката. Сегодня миллион фотографий меня возле одной пальмы (ни одной хорошей меня, пальма хороша, даже лучше, чем в жизни). Два миллиона фотографий Мечика, я всегда фотографирую его больше и лучше. Прошу поменять позу, подбираю ракурс, замечаю детали. Жду квадратик на экране, чтобы картинка не плыла, жду, когда пройдут полуголые люди, высушенные на солнце темно-коричневые туземцы, розоватые корпулентные туристки неопределенного возраста с детьми.

На фото, сделанных мною, Мечик пребывает на фоне красоты. На фото, сделанных Мечиком, смазанная я на фоне чего и кого угодно.

Ты и так красивая, говорит Мечик.

Конечно, я красивая на размазанных фото, с задней частью собаки за спиной, с ногами, стремящимися вывернуться наизнанку, почему ты никогда не скажешь мне, чтобы я не сутулилась, вот тут же ничего, но ты обрезал мне полруки

зачем-то, нужно смотреть на меня в перспективе, понимаешь? Я смотрю на тебя, а про перспективу забываю, какие у нас перспективы по поводу ужина, кстати. Не трогай меня, ни одного стоящего кадра, я злюсь, я хотела больше не носить это платье, а теперь придется снова его надевать, и только попробуй не сделать мне в нем хоть один приличный снимок.

Приличный ужин, спросил он, на набережной посидим, как порядочные, или так: вино и виноград.

Я не буду вино, нет, давай, если хочешь, прогуляемся, сегодня я не пью, почему должна обязательно болеть голова, ничего у меня не болит, впрочем, мы же не можем пить каждый день, даже если это и вино. Я знаю. Знаю, что полезно, так все говорят, но думаю, что вино из местных погребов, собранное из ошметков винограда по цене три евро за литр, это не тот напиток, который приносит пользу. Ничего не предлагаю. Предлагаю выпить одному, если у тебя такая невыносимая потребность, выпей, пожалуйста, сходи в магазин, купи. Можем сходить вместе, если хочешь. Ты не видел зарядное? Мама написала, спрашивает, как погода и все ли хорошо. Доложила, что купила острый перец и много сладких помидоров, значит, мы обеспечены аджикой на зиму. Нет, я не брала твой телефон, почему-почему, просто женщины расторопнее отвечают и любят поболтать, а ты вообще игнорируешь эсэмэски, ты их и не читаешь, зачем тебе писать. Я не ворчу, это ты ворчишь,

я помню, что опасно оставлять, ты как ребенок, я включу потом, когда мы вернемся, главное еще его найти. Твои плавки в ванной, до сих пор мокрые, наверное. И смени футболку, эта плохо пахнет. Я снова пойду в этом платье, щелкнешь меня на фоне заката, тогда уж на свой — щелкнешь.

Когда Ида подрастет, научу ее делать красивые снимки. Жаль только, что, когда она подрастет, количество моих морщин не компенсирует ни одно хорошее фото. Да и прежде неизбежно будут гигабайты запечатлений этой сладкой девочки, еще очень долго. Спящей и бодрствующей, плачущей и хохочущей, может, и не нужны мне скоро станут собственные отражения... Но что-то же нужно будет оставить ей, кроме недоумения. За нами и без того как минимум два поколения, озадаченных тем, как выглядели их предки, пытающихся вытянуть душу из мятых, недопроявленных фотопленок. В старину хоть портреты рисовали...

Вот оно, зарядное, это ты его сюда сунул, не иначе.

Слава заходит в комнату, озирается по сторонам. Она вдруг видит бардак его глазами. Повсюду разложены листы формата А4: на диване, столе, стульях. На полу кружка с давно остывшим чаем. Наверное, вообще вчерашним. Она поднимает ее, ставит на стол как можно непринужденнее, рядом кладет цветы, как можно увереннее, пряча чувство неловкости куда-то вглубь. Куда-то за пазуху.

— Ты пишешь на «Снегурочке»? — спрашивает Слава. Совершенно непроницаемый. Никак не реагирует на беспорядок.

— У меня закончились тетради. А еще я пишу карандашами. Так проще.

— Ты же по мне скучаешь? — нелогично спрашивает он.

— Да, я скучаю *без* тебя.

— Такой образ жизни... Так продолжать нельзя. Ты что-нибудь ешь?

Он берет со стола вазу, по-хозяйски идет в кухню, открывает кран. Она слышит шум льющейся воды, слышит щелчок — он включает газ, слышит нервное дребезжание чайника, который он ставит на плиту. Она берет первый попавшийся лист, быстро записывает голубым карандашом

Конец ознакомительного фрагмента.

Приобрести книгу можно

в интернет-магазине

«Электронный универс»

e-Univers.ru